

Ефим ЭТКИНД  
ФРАНЦУЗСКИЙ  
«ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК» XVIII ВЕКА  
(Фрагменты)

Антология французской поэзии XVIII века, скромно озаглавленная «Малая поэтическая энциклопедия, или Избранные стихотворения всех жанров» (*Petite encyclopédie poétique, ou Choix de poésie dans tous les genres*) состоит из... 15-ти томов, в каждом в среднем по 300 страниц. Составило антологию некое «Общество литераторов» (*Une société de gens de lettres*); на самом деле составителем был, видимо, автор последних двух томов, содержащих исторический очерк, алфавитный указатель поэтов XVIII века, даже словарь рифм – Л.Филипон-ла-Мадлен (*L.Philipon-la-Madelaine, de l'Académie de Lyon*). Рассматриваемая антология – самая, пожалуй, представительная из всех, какие мне когда-либо пришлось видеть. Вышла она в бурный период 1804–1806 годов, в первые годы Империи (провозглашенной в 1804 году), и является подведением итогов только что отошедшего в прошлое Века Просвещения и последовавшей за Просвещением – им порожденной – Революции. Еще не настала другая эпоха; еще впереди спиритуалистические элегии и «Думы» (*Meditations*) Ламартина, еще не утвердился в читательском сознании шатобриановский романтизм – он только что появился на свет («*Atala*» – 1801, «*René*» – 1802). «Малая энциклопедия...» содержит некоторые обещания будущего, но их мало; это памятник недавнему прошлому. Именно так люди и наследники просветительской эпохи представляли себе поэзию своего времени. Разумеется, их представление отличается от нашего; глядя в XVIII век из XX, мы ищем в нем прежде всего предшественников – той поэтической настроенности, которая отвечает современному представлению о стихах.

Стало уже привычным общим местом отрицать художественную ценность французского XVIII века. В России запомнили суждение Пушкина, который с безапелляционной

суровостью заявил: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, и любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслью умственной деятельности человека. <...> Он наводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепринятым и шутливым языком, одною рифмою и метром отличавшимся от прозы, и эта легкость казалась верхом поэзии...» Так Пушкин разделяется с Вольтером, а ниже, в той же незавершенной статье, развенчивает словесное искусство рококо: «Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия...» (Статья «О ничтожестве литературы русской», 1834)<sup>1</sup>. Пройдет полтора столетия, и уже в наши дни знаток и ценитель французской поэзии С.И.Великовский напишет вслед за Пушкиным: «XVIII столетие во Франции – “век философов”, просвещения на подступах к революции 1789–1794 годов и писательства блистательно умного, приглашающего скорее к соразмышлению, чем к сопереживанию, – было едва ли не самым засушливым в тысячелетней без малого истории французской поэзии. <...> Под гладкими перьями ложно-классических витий рубежа XVIII–XIX веков поэзия сводилась <...> к той же обычной понятийной речи, только просодически упорядоченной, закругленной в своих периодах, складных и бескрылых при всем их торжественном парении»<sup>2</sup>.

Справедлива ли такая уничтожающая характеристика? Кажется, вполне; множество поэтов и критиков последующих двух веков разделяли отрицание французской поэзии эпохи Просвещения. Однако... Однако тот же Пушкин в 1836 году написал статью о Вольтере – в связи с изданной во Франции перепиской «Вольтер – Шарль де Бросс», где читаем: «В одном из писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера. На них легкая печать его неподражаемого таланта. Они писаны соседу, который прислал ему розаны.

<sup>1</sup> Пушкин А. ПСС в десяти томах. Т. VII. М., 1964. С. 312–313.

<sup>2</sup> Великовский С. Вехи и мастера французской поэзии XIX века // Поэзия Франции. Век XIX. М., 1985. С. 3.

Vos rosiers sont dans mes jardins,  
Et leurs fleurs vont bientôt paraître.  
Doux asile où je suis mon maître!  
Je renonce aux lauriers si vains,  
Qu'à Paris j'aimais trop peut-être.  
Je me suis trop piqué les mains  
Aux épines qu'ils ont fait naître.

Признаемся в *rococo* нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более *слога*, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера – напыщенным языком Ронсара, живость его – несносным однообразием, а остроумие – площадным цинизмом или вялой меланхолией»<sup>1</sup>.

Эти строки опубликованы Пушкиным в журнале «Современник» в 1836 году – их написал не юный вольтерианец, а зрелый автор «Онегина» и «Медного всадника», «Маленьких трагедий» и «Пиковой дамы». Пушкин 1836 года ставил «неподражаемый талант» Вольтера, его *слог, мысль, живость, остроумие* выше романтической поэзии тридцатых годов; ведь, говоря о «длинных французских стихотворениях», он, несомненно, имел в виду Ламартина и Гюго, Казимира Делавиня и Беранже («...Беранже, слагатель натянутых и манерных песенок». – «Начало статьи о В.Гюго», 1832). О Ламартине: «Не знаю, признались ли наконец они [французы] в тощем и вялом однообразии своего Ламартина...»<sup>2</sup>. Оказывается, Пушкин не так уж начисто отвергал французскую поэзию XVIII века – он видел в ней немало замечательных достоинств. Что и говорить, при всей любви Пушкина к Сент-Бёву (Жозефу Делорму) и Байрону, он многому научился сперва у Грессе и Парни, потом у Шенье и Бертена, даже у Вержье и Грекура<sup>3</sup>. Чему – будет яснее из дальнейшего.

<sup>1</sup> Пушкин А. Т. VII. С. 416–417.

<sup>2</sup> Там же. С. 264.

<sup>3</sup> См. некоторые выводы Б.Томашевского в его книге «Пушкин и Франция». Л., 1960. С. 144 и далее.

Моим эстетическим вкусам – из всех 15-ти томов «Малой энциклопедии» – ближе всего включенное сюда скорее всего случайно стихотворение Жана Расина «À Parthenisse» (Парфениссе). Особенность его (оно отнесено составителем к жанру «стансов», самому неопределенному из всех) в почти неправдоподобной для той поры простой разговорной речи, выражающей живое чувство:

Parthenisse, il n'est rien qui résiste à tes charmes;  
 Ton empire est égale à l'empire des dieux;  
 Et qui pourrait te voir sans te rendre les armes,  
 Ou bien serait sans âme, ou bien serait sans yeux.

В этом начальном катрене три стиха содержат поэтические условности, традиционные, даже клишированные обороты; таковы «tes charmes», «ton empire...l'empire des dieux», «te rendre les armes»; однако последний, четвертый, стих выражает чувство восхищения женской прелестью с абсолютной чистотой, беспримесной естественностью речи. То же и дальше, во всех девяти четверостишиях. Вот заключительные строки нескольких катренов:

Les noeuds de tes cheveux devinrent mes liens  
 Je vis et j'admirais ces beautés invisibles  
 Qui rendent ton esprit aussi beau que ton corps  
 Je ne sentais en moi rien qui ne fût amour

Приведу целиком феноменальную – с интересующей нас точки зрения – строфу VIII:

Oui, depuis que mes yeux allumèrent ma flamme,  
 Je respire bien moins en moi-même qu'en toi;  
 L'Amour semble avoir pris la place de mon âme,  
 Et je ne vivrais plus s'il n'était plus en moi.

Конечно, «ma flamme» и «L'Amour» (с заглавной буквы) – поэтические клише классицизма; но Расин, используя эти привычности, обновляет их погасшую образность, причем обновляет средствами, казалось бы, противостоящей им естественной разговорности, выражающей образность индивидуального переживания:

Je respire bien moins en moi-même qu'en toi...

Расин для XVIII века – поэт прошлого; его тяга к естественной речи (ощутимая в любой из его трагедий), соединяющейся с литературной условностью и побеждающей ее, относится к миновавшей эпохе.

С другой стороны, есть в нашей антологии и поэты, принадлежащие будущему. Таков Гиацинт Гастон (Hyacinthe Gaston), который перевел элегию английского поэта Томаса Грея (1716–1771) «Сельское кладбище». Для русской литературы это представляет особый интерес – ведь с перевода этой элегии Жуковским начинается русский сентиментализм, очень скоро ставший романтизмом. Трижды переводил Жуковский элегию Грея, все больше удаляясь от поэтических привычек. В 1802 году Жуковский музыкален, чувствителен, но традиционен в сентиментально-карамзинской манере:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;  
*Шумящие* стада толпятся за рекой;  
*Усталый* селянин *медлительной* стопою  
Идет, задумавшись, в шалаш *спокойный* свой<sup>1</sup>.

Жуковский добавляет эпитеты (четыре вместо двух) и отбрасывает оригинальную образность Грея:

The curfew tolls the knell of parting day,  
The lowing herd winds slowly o'er the lea  
The ploughman homeward plods his weary way  
And leaves the world to darkness and to me.

Жуковский утратил яркий образ: «The ploughman ... leaves the world to darkness and to me»; 37 лет спустя, в 1839 году, он переведет ту же элегию гекзаметром и сохранит все, что прежде отвергал:

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает;  
С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;  
Медленным шагом домой возвращается пахарь уснувший,  
Мир оставляя молчанью и мне...

<sup>1</sup> Подробный разбор этого переводного стихотворения в моей книге: «Русские поэты – переводчики от Тредиаковского до Пушкина». Л., 1973. С. 59 и далее.

Французский вариант элегии Грея, предшествующий раннему переводу Жуковского, звучит так:

Le jour fuit, et j'entends l'airain mélancolique;  
Le pasteur, entoure de ses troupeaux bêlants,  
Vers le hameau voisin les ramène à pas lents;  
Le laboureur, lasse, sous le chaume rustique  
Rentre, et laisse le monde aux ténèbres, à moi.

Замечательно, что Г.Гастон в точности воспроизвел главное в строфе – то, что Жуковский передал лишь в конце 30-х годов: «...laisse le monde aux ténèbres, à moi». И в дальнейшем тексте Гастон, нередко уступая условности, умеет отстоять новое:

Du hanneton tardif le sourd bourdonnement,  
Et du marais fangeux l'aigre coassement,  
Sont à peine entendus dans cet espace immense  
Ou descend avec l'ombre un auguste silence.

Оборот *le coassement du marais* – необычный и смелый («кваканье болота»). Впрочем, элегия такого типа – дело будущего во французской поэзии; пока что, в пределах «Малой энциклопедии...» поэзии XVIII века это исключение.

Каковы же черты, характерные для всей этой поэзии и определяющие «поэтического человека» эпохи Просвещения?

\*\*\*

Первая и главная черта – классификация по жанрам. Каждое стихотворное произведение подчиняется определенным жанровым *правилам*; так, «серьезные поэмы» (*poèmes sérieux*) – эпические, героические, философские, дидактические – пишутся парнорифмованным александрийским стихом, иногда десятисложником (*décasyllabes*), сказки (*contes*) – восьмисложником (*octosyllabes*), с вольным расположением рифм, басни – вольно чередующимися размерами (от одного слога до двенадцати). Дело однако не только в этой диктатуре формальных правил, установленных заранее, помимо воли автора; важнее то, что в пределах жанра задан определенный авторский характер: в оде – восторженный сладкопевец; в послании – собеседник, который может быть